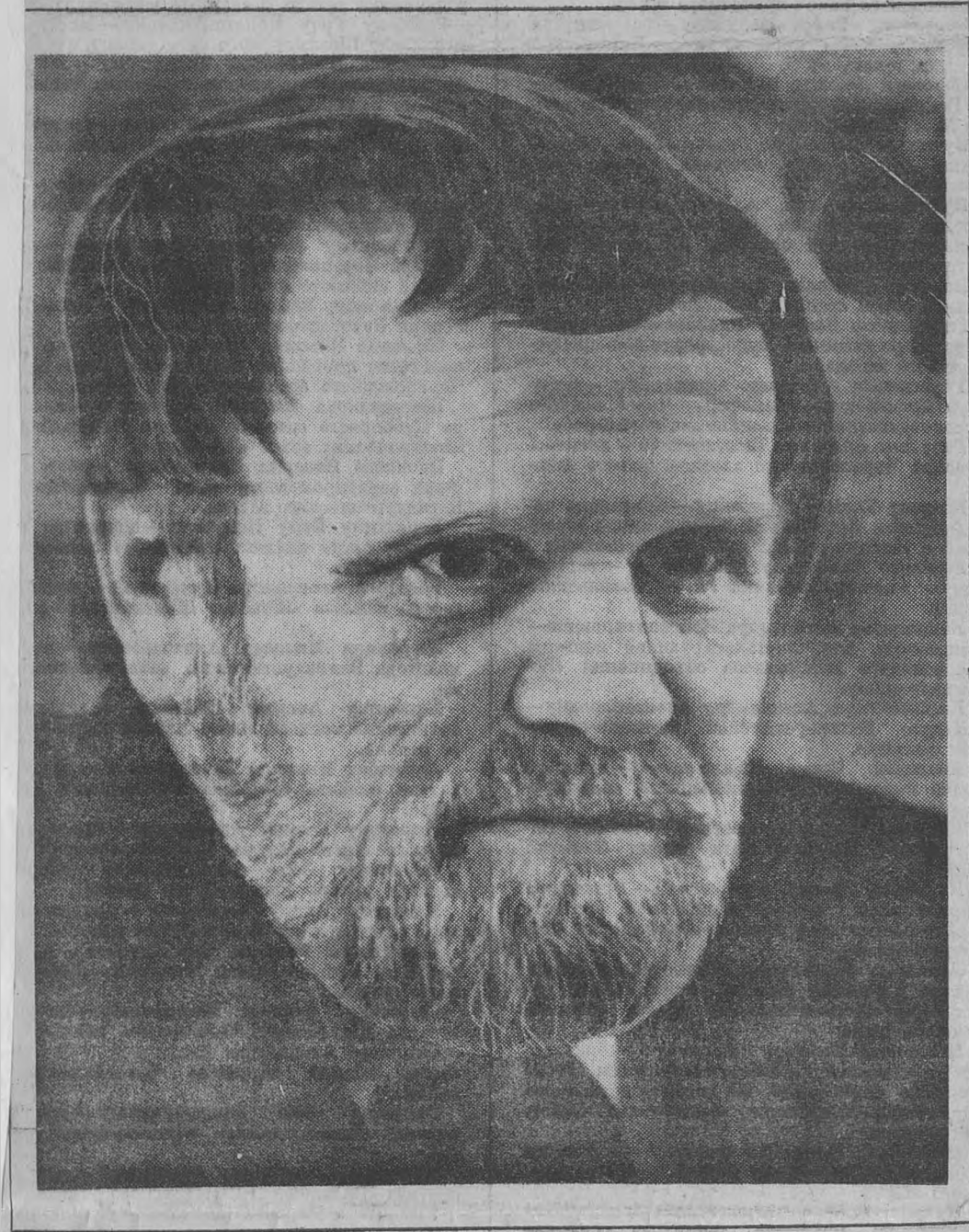


РУССКОЙ ЗЕМЛИ ПИСАТЕЛЬ

К 50-летию Василия Белова



Василий БЕЛОВ

В СЕ было спокойно: на вышке, на верхнем сарае и около сенинкой. Ветер стихал. Где-то совсем близко, там, в пазе, горько, языком плакал младенец. Никита Иванович, крестьяне и ругая себя, поспешно в избу. Хотелось ему иззаправду помолиться, чтобы потушить страх и горечь только что пережитого кошмарного сна. Но там, в летней пазе, плакал правнук. Никита Иванович открыл дверь: у порога стоял нищий — мальчик лет двенадцати — и тоже всхлипывал. Никита Иванович заглянул в корзину, окантованную резной берестой. На дне было видно с подложки разномастных кусков.

— Ну, ну, ты-то чего? — сказал дедко. — Ведь ты уже большой. Взял бы и покачал. Нищий мальчик заплакал тише, но еще горше.

— Ты чей? Откуда? — спросил дедко, наливая молока в роговуху.

— С Тигины...

— Что, зашел, а хозяев нет и выйти боишься? — спросил дедко.

— Бгм... — утираясь рукавом, тихо сказал нищий.

— Ну, ну, не плачь. Молодец.

Никита Иванович покачал амку, и маленький его правнук блаженно затаился.

Старик открыл стол. Взял нож, отрезал от половины подового караява большой урезок, посыпал солью и подал тигинскому мальчишке. Тот взял милоstinно и поспешно пошел из пазы, стука по лестнице босыми ногами.

— Обрадел. — подумал о с дедку. — Ишь, не рад и кусочку. Только бы на волю скорее.

Тяжестя кошмарного сна не развела и прибавившая с поля Верушка:

— Ой, дедушко! Дай-ко я его покорюлю.

— Корим, корим, матушка. — дедко, бормоча что-то себе под нос, вышел, спустился по лестнице. «С Тигины парень-то», — подумал он. — А там, в Тигине-то, колхозы наделаны. Надо бы поспрашивать».

Не по-стариковски резво Никита Иванович выскочил к палисаду. Поглядел в один конец, в другой. Нищий направлялся в клюшинские ворота. «Вот и ладно», — подумал Никита. Он подождал, чтобы не испугать мальчишку, и чуть не рысцой заторопился следом за ним. Дедко Ключин был и сам не дурак, он тоже спросил мальчишку, откуда тот родом и где почивал.

— Ты погоди, парнек, погоди. — Ключин как раз подавал милоstinно, когда Никита

Иванович зашел в дверь. — Цогоди. Ну-ко, порассказывай, чейо у вас в Тигине-то... — Вот и я про то, — подсказал ему Никита Иванович. — Садись-ко. Кто там командерот у вас? Все тот же Долоблов?

— Он, вишь, сменил фамилию-то, — поцарил Никиту Ивановича дедко Петруша Ключин. — В Тигине был Долоблов, а в Москве стал Демидовым. Я вроде бы и отца знал евоного.

...Мальчишка-нищий испуганно шмыгал носом. Он никак не мог взять в толк, чего от него хотят два сивых шибановских старика.

Да, Тигина была богатая волость, ничего не скажешь. Но и оттуда люди ходили по миру. Благо мир был не только велик, но и понятен, не только суров, но и милоstinно ко всем вдовам и сиротам, больным и увечным.

— Ну дак, еще-то кто у вас там в командерах-то? — не отступался Петруша.

— Да ты не бойся, ведь мы не кусаем. На-ко вот...

И дедко Ключин достал из шкала сиропный пряник. Нищий трепетно взял гостинец, сказал спасибо и спрятал в карман. Слово по духу училась детские разговоры, пришл Жук и Евграф, в тесном клюшинском передке незаметно оказался и кривой Носопыр, и сосед Савва Климов, и старик Новожило. А тут еще совсем нежданно из другой деревни пришло в Шибаниху кузнец Гаврило Насонов. Он за руку поздоровался с Ключиным, расправил большую, с подпалинами каштановую бороду.

— Вот, Петро Григорьевич, принес, о чем договаривались. Он выложил на стол что-то завернутое в тряпицу.

— Степан! — заверещал Ключин. — Где у тебя Таска-то? Пусть самовар ставит! Но ни сына Степана, ни невестки Таски в доме не было. Все жали рожд, да и Гаврило решительно отказался от чаю:

— Нет, Петро Григорьевич, самовар не надо-то, и только что пил в Залесной. Ты вот прибири, прибири... Да вот и Никита Иванович тут. Гляди-те сами, ладно ли.

— Ладно, ладно, добро сконал, — приговаривал Евграф, разглагольствуя стальную продолговатую вершину на два плеча с квадратным отверстием посредине. — Это чего в жабу-ку? В верхнее жерновое? Тулы-гла-то от шестерни. Верхний-то копец как раз в эту дыру. Вот оно и завернется, жерновое-то.

ДАНИЛО ДА ГАВРИЛО

(ИЗ НОВОЙ, ЕЩЕ НЕ ИМЕЮЩЕЙ НАЗВАНИЯ

— Ты погляди... — Добра лику-то. Звонкая. Все дружно разглядывали поковку.

— Дак тебе, Гаврило Варфоломеевич, много ли за работу-го? — тихонько спросил Никита Иванович Рогов.

— А ничего. Мы с Ключиным квиты.

— Нет уж, ты лучше со мной рассчитывайся, — не уступил Рогов. — Ты ведь знаешь, Ключины из пая вышли.

Дедко Петруша Ключин тем временем завернул поковку и подал ее тигинскому нищему:

— Мельницу-то видел на угорышке? Вот бегги туды, унеси... Скажи, так и так. А почевать-то приходи. ежели. Бегги, бегги, батюшко. Корзинку оставь, нукуда она не денется. Бегги...

Мальчишка бегом побежал на мельницу.

— Каково живешь, Гаврило Варфоломеевич? — спросил Петруша. — Не возвернули голос-то?

Гаврило Насонов опустил бородатую голову, тихо сказал:

— Худо, брат. Петро Григорьевич... Хуже некуда. Обложил налогом как барина аль купца. Четыре сотни. А какая моя гильдия? — Гаврило вывернул вверх большие лопаты черных ладоней с корявыми, словно сучья, пальцами. — Вот она, вся моя гильдия.

— Истинно...

— И голосу не возвернули, пришел отказ из Москвы. До Калпинна-то бумага, видать, не дошла.

— Даша-то она дошла... — заметил Евграф.

— А вот Данилу-то Пачку голос ворогили, — сказал Савватей Климов.

— Он сам, вишь, в Москву-то ездил.

— Тут ездил не ездил, все одно. Пришло, значит, такое время, мужиков к потю, — произнес Евграф. — Не знаю, что теперь делать.

— А что делать, делать нечего. Надо жить. — Дедко Никита поскреб столешницу. — Каждая власть от бога...

— Нет, не каждай! — дедко Петруша Ключин даже подскокил и кинулся к Рогову. — Это как так. Никита Иванович! Власть тоже от бога?

— От ево... — вздохнул Никита Иванович.

— Нет, тут чего-то не то,

робятушки, — повернулся к Никите Савватей Климов. — Вот, скажем, о прошлом годе. Посадили Ерохин в холодную...

— Не ево одного! Вон и Носопыр сидел, и Пашей Сопроновым не побрезовали.

— Ошибочко.

— Да вы погодите, дайте мне... — встал Жучок. — И правда-то вся твоя, Петро Григорьевич. А ты, Никита Иванович, здря говоришь, что любя власть от бога. Выходит, и Ерохин от бога, и наш Игнаха?

— От ево... — тихо повторил Никита Иванович. — А наш-то Игнаха от нас самих. Сами взрастали.

— Да за что оне так? Мужиков-то жмут?

— В наказании за грехи наши.

— А скажи мне, Никита Иванович, — велики ли у тебя грехи-то? — всерьез спросил Савватей Климов.

— Есть...

— Ну, а какие? Скажи-ко...

— А ты, Савватей, попом ли? — перебил Жук. — Вот мы тебя счас поставим взамен Рыжика...

— Нет, не поставишь. Для этого звание нужно. А у меня нет званья-то.

— И звание тебе дано. Это как там поют-то ныне? Кто бы ничем, тот всем станет. Я те говорю...

Никита Иванович слушал все это и говорил сам будто сквозь сумеречную осеннюю дрему. В сердце все еще маяла дашевская тревога, кошмарный сон не развевался. Мысли обрывками пролетали в сознании. «Жабка... Дыра в жернове, поперек ее — железная планка, в пазах у камня... Снизу — шестерня на железном вале. Ветер полудет в махи, в машинах-то, махи замашут... Машины завертят колесо на валу. От колеса завертятся, на игле шестерня, от иглы через планку и верхний жернов. Потому и шестерня, что шесть черемуховых пеньков... Потому и машина, что машет... Нет, Павло вроде бы добавил некое-то. Две или три. А чего на сарае-то? Беси... Беси они и жить беси... Чем больше о них думаешь, тем больше и лезут...»

Неторопливо и глухо, будто из-под соломенного зарода, похрипывал густой гавриловский бас:

— ...мы с Данилом в одно время и рекрутчились. А как

забрили, кряду и разлучили нас, одного в егерь, другого в артиллерию. Меня Вильгельм и газом душил, стерва такая! Бывало, в Карпатских горах фельдфебель наром бежит по траншею, кричит чего-то, а у нас на всю роту десяток противозавоз... Витер полуд в нашу сторону... Я платок обоснал, начал ныкать через ево... С того времени и ломаю одышка-то... А в семнадцатом-то году, бывало, всех взводных заставляли гусиным шагом ходить, а ротный прибежал — того по-пластунски.

— Пополаз? — спросил Евграф.

— Пополазешь тут...

— Нет, этот нас не послушался, — сказал Гаврило. — Заплакал, револьвер вынул... Мы на него, было, а он говорит: «Отойди! Пропала Россия», да как христиан сам-то себя, прямо в рот. Так и повалился, лежит, ноги раскинул. А я ему кобылу только что подковал.

— Оне так, робятушки, афидер, вишь.

— Того же дня мы из окопов долой. Аплаоны обратво в Москву да в Питер давай заворачивать. Только успел я на свою станцию явиться, гляжу: Данило! У обоих у нас по рублю...

— А куды их девали, когда на гражданскую-то поехали? — подмигнул Евграф Савватей Климову.

Гаврило сделал вид, что ничего не расслышал. Он говорил теперь о том, как воевал с Брангелем и как снова в один день с Данилом вернулся домой.

— Вот с того дни и пошла поговорка: «Данило да Гаврило», — заметил Жук. — Землю делить либо там чего, весь народ одно и твердят: а мы как Данило да Гаврило.

— А скажи, Гаврило да Варфоломеевич, — опять подсказал Савватей Климов. — Пошто оне тебя голосу лишили? Ты им и то, ты им и это, а оне тебе ето... как оно... И голосу у тебя нету и кузница на замочке? А?

Но Гаврило уже держался за скобу. Похоже было, что он не имел не только голосу, но и слуха. Петруша Ключин проводил его от дверей до лесенки. Приглашая в гости на день Успения он громко кричал Насонову, чтобы приходил обязательно и чтобы всюю семьей.

— А много ли ржи-то за-

солод замочил? — спросил Гаврило не без умысла.

— Да два с половиной пуда, — сказал Петруша.

— А Евграф?

— Евграф? — полтора.

— Ну, а Роговы-то сколько?

— У их два с половиной, как и у нас. Так что и Данилу есть в чем мочить бороду...

Шибаниха, все еще не подзрелая бедо, собралась широко праздновать день Успения. Гаврило громко захлопнул ворота.

С уходом кузнеца никому и не подумалось расходиться. Получилось что-то вроде стариковского совещания: говорили и решали, решали и говорили. Никита Иванович предложил почитать у церкви крыльцо, вставить стекла и подрыть попа. (Являлись слухи, что в Пошине живет бродячий поппа, бабы будто бы ходили туда крестить младенцев). На таких слова Жук сиротским своим голоском сказал:

— У Рогова оне на уме, подай ему попа. А по мне дак эти коностасные дела хот бы и вен не бывали. До того уже коностасничались, все время коностасничали. «Вот, вот, истинно, доконостасничались», — то ли подумал, то ли сказал Никита. Его томила зевота, в спотке тинуло. — Такно вот Жучки и губили Рассею-то, ничего им не надо, кроме своего запечки. И на церкву им наплевать, и на общество, вот они и достужались до тучки, им везд теперь ии впе-ред. Гаврило с Данилом афидеров заставляли гусиным шагом, афидер афидерова прозевали. А Жучок — эот давненько готов половини из храма выломать да к себе в передок настлат, ему не до общества. Вон уж и маслоярть приборают к рукам, говорят, засел чужой элемент и кредитному товариществу каюк пришел. Одну Миткину коммуну ублажают, обоблыг уламывают. Данило да Гаврило сами себя и лишили голосу-то, чего говорить... А все и пошло с Рыжика-прогрессиста, вокруг ево и вились лыньицы да безбожники, как комары около мерина, истинно...

— А я бы, кабы моя воля, п поща нанял бы и псаломщика — сказал Петруша, успокоившись. Он достал деревянную с медными ободками табакерку, постукал по ней ногтем. — И яровирию бы подрыл, что е том говорить? Да что на это



АВТОГРАФ ЧИТАТЕЛЮ. Фото Н. ЧЕСНОВОЙ.

товарищи-то? Вон Олега счас побейт к Миклулену, все наши планы ему выложат.

— Ась? — Кривой Носопыр услышал свое имя и подставил к уху ладонь. — О чем слова-ти, вроде бы про ме...

— Про тебя, про тебя, ево м...! — обоблыг Евграф, — бегги к началу-то, людская твоя харя.

Но кривой Носопыр снова оглох.

— А пускай он идет, — мирно сказал Савва Климов. — Пускай докладывает. Никому не жарко, не холодно. А ежели про перву, дак вон Ильшский приход, уж на што людю в ем, и то, говорят, прикрили. Насильевской тоже возмь. Народ приговор составил, бумагу всю исписали фамилиями. Послали начальство-то, а оттуда говорят: «Пожалуйста! Хоть сейчас открывай да молсь. Только сперва гербовый сбор уплати. И я марку выдери. Матрос нарисован с якорем».

— Пошлина-то не велика, а вот страхочку-то, аэаешь сколь им завернули? Хот и тому же Илье Пророку. Пожабольте полугусти, сказывают. — Евграф положил руку на сухое колено Климова, — слы-хал ты про это?

— А чего ты меня шупаешь? Я не дева! — отодвинулся от Евграфа, сказал Савватей. — Да нашему Николаю, конечно, куда против Ильи. Да и до Василия Великого не достануть. Ну, а все одно, надо бы поштыть.

— Бумагу пусть Степка Ключин напишет, а я бы по двору обшел, — очулся Никита Иванович. — Девки с ро-

бятми как скотина. Сходятся без вена, без благословенья. Ребят крестить старухи носят за восемь верст и то воровски... Разве дело?

— А бес мой, Степка-то, истинно! — обернулся Ключин. — Осенес ездил в Вологду Штыря искать. Много ли выедал? Нет, пусть лучше Зырин пишет бумагу, больше толку.

Дело решилось как раз само собой, когда за окном послышался ребачий ор. Петруша выплянул за ситневую занавеску: большая орда подростков с криками неслась по улице, за ней торопились те, что помельше, за ними, пыхтя и ревя от обиды, что не успевают, полади, карабкались самые малые, еще не ходячие...

— Чего оне там? — засуетился Ключин, — уж не горит ли где...

Все старики торопливо выгряхнулись на улицу. Из-за угла была видна недостроенная мельница, она торжело, словно рыжками, махала четырьмя крыльями в виде буквы «х». Двух остальных крыльев еще не было, но она махала, казалась, как-то суматошно и беспорядочно, но все же махала.

Все старики заторопились на укор за Шибаниху. Друг друг друга и то, о чем только что говорили. Гуда же, к мельнице, бежали с полдюжины, кое-откуда ескачет неслышная парня, тоже к мельнице... Ветер рвал в палисадах густые шибановские березы, рбью те пил голубую речную воду, свел выветшане за долгие годы глаза шибановских стариков.

Д АВНО ЛИ, КАЖЕТСЯ, жести полки укачивали нас с Василием Беловым в поездах, уходящих из Москвы в Вологду. Мы расположились в вагоне высоко, друг против друга, и совали под головы вместо подушек свои студенческие рюкзаки. Вылу шумел и затихал народ, там уже было, словно тина, оседали сны, не поднимаясь до нас. Возбужденных дорогом к родному краю. Впереди простиралась целая ночь уединенных — полупенотом — разговоров. Ах, о чем только мы и не переговаривали тогда!

Радостно открывать друг в друге сходство пережитого и передуманного. Дорого видеть понимание твоей души близким человеком и чувствовать, что и его душа доступна тебе. Шемье сладко делиться с ним обступающими тебя впечатлениями и замыслами и вместе заигрывать от волнения перед их грандиозностью. Тревожно подвезать издали, после долгого перерыва, к своей родне. Глядя в утреннее окно вагона, мы загибали и уже молчаливо, неотрывно следили на мелькавшие, летевшие навстрочу нам поля и деревеньки. Мы с какой-то неизъяснимой болью замечали в них такие перемены, которые не были бы равнодушному взгляду. Это текла земля наплыв судьбы и нашего творчества. Давно ли, кажется, все это было...

И вот Василию Белову — пятьдесят лет. Юбилей настаивает нас внезапно. Юбилей жизни, а не работы. Работа не знает юбилеев. Позавчера окликает оя. Василий Иванович, меня на улице. Идет стремительно, в легкой ладной куртке, в молодцеватой кофке, взбодренный октябрьским холодком. Свеж лицом, глубокий взглядом, крепко похитив. «Куда торопишься?» — спрашиваю. «А, — машет рукой, — все юбилейные заботы, а дело опять стоит». Смотрю я на него, удивительно талантливого человека и мужественного работника в русской литературе, и радуюсь, что судьба когда-то свела нас вместе. Одарил дружба, а главное, радуюсь тому, что он, Василий Белов, есть в жизни нашего народа, есть в нашем тревожном и сложном времени.

В 1965 году Александр Яковлевич Яшин в одном из многих писем, помимо всего прочего, писал мне: «Васю Белова слушайте и даже слушайте (простите меня за откровенные поучения). Поимте: это очень большой талант, большой писатель и умница. Это — редкий человек. И никакая дурь ему никогда не ударит, он — сила. Дорожите дружбой с ним, не пренебрегайте его советами, даже молчаливыми... С ним вы не собьетесь с пути правды и подлинного искусства. Верьте мне в этом, Саша! И бойтесь карьеризма, деловитости от литературы, чиновничества».

Как всегда, Яшин проицал. Прошло семнадцать лет, как это написано, и что ни слово — чистая правда. Он первый усмотрел в Белове, увлеченном поначалу только поэзией, будущего прозаика. Я помню тот семинар, когда он ошеломил нас тогда молодых поэтов, этим своим решительным заключением. Я даже расстроился за Белова. Теперь, конечно, с улыбочкой вспоминаешь и думаешь о том времени. Ведь Яшин тогда отнюдь не отгаживал Белова от поэзии, он просто почувствовал в его стихах основу таких будущих холодов, которым требовалось именно прозаический уток. Таким Белов и стал — большим поэтом в большой русской прозе. Откройте его знаменитое «Привычное дело» — это одновременно народная повесть и народная поэма. И вот что поразительно: сколько ни перечитывай «Привычное дело» — в душе у тебя все то же волнение, что и в первый раз. С пачальных слов — «Парменко-то? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко...» охватит все твоё существо тепло родной речи и радость узнавания Ивана Африкановича, Катерины, их большой семьи, всего деревенского их соседства, всего неразрывного — от земли до неба — их окружения, вплоть до скрытого в траве родничка и кормилицы — коровы Рогоули. И вдоволь ты переживешь всего, склонись над этой книгой: и отрадное удивление перед цельностью характеров, и глубокое потрясение вместе с этими добрыми людьми в пору пезвгод, и потешные минуты от их смешных поступков, и невольные слезы от их горьких утрат.

Не тускнеет с годами, наоборот, полнится светом эта повесть-поэма. Сколько критических копий было изломано в спорах об Иване Африкановиче! К нему подходили с разными мерками и с разных сторон — ведь у нас ныне критики непременно хотят написать в паспорт любого литературного героя, кто он такой. Но подходящего определения, пожалуй, и по сию пору не сумели подобрать для Ивана Африкановича. В его чистой душе сталики вало, истинно крестьянское представление о жизни с искренними волею разных причин колхозными обстоятельствами. А в сознании блилась пытливая дума о вечном и временном бытии природы и человека. Он тот обыкновенный русский человек, на котором от века держалась трудовая основа всею

государства. Для него привычным делом было пахать родную землю и ковать за нее, растить детей и перепогивать непосильные для других житейские тяготы. Такие мужики, как он, были в каждой русской деревне. Ироном. может быть, и сегодня они кое-где еще есть. И многие писатели, конечно, видели их, а разглядел — один Белов. И ввел своего Ивана Африкановича в русскую литературу, как в вечную жизнь.

Так в чем же секрет такого писательского воздействия на умы и сердце читателя? При чем читателя самого широкого, от академика до колхозника. Где тут зарита тайна? А тайна, оказывается, — в самой правде беловского письма. Он нигде, ни на вершок не отступает от нее. Он не поддается соблазну краси-

вой фальши. В спорах, чтобы опонить противника, всегда бросает в лицо фразу «Правда правде — рознь». Да, много в мире есть такого, что, вроде бы, похоже на правду. Все зависит от того, с какой нравственной и исторической точки зрения смотреть на ход жизни. Василий Белов честен, без шор, смотрит на жизнь с народной точки зрения. Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Это даже очень трудно. Но истинный талант — зоркие глаза своего народа.

Откройте не менее знаменитые, чем «Привычное дело», другие произведения (не поворачивай руку, как обычно бывает, написать слово «вещи») Василия Белова: «Затрема волоками», «Вологодские бухтинцы», «Плотинские рассказы», «Кануны» — да что перечислять! — вот где правда народной жизни, не протекшая через робкий рассудок, а выплеснутая из сердца со всей любовью, скорбью, беспомощностью и верой в Россию. Как бы ни была трагична правда, но если она действительно правда, то всегда очищающе молотит жизнь и обрабатывается высокой, редкой кому доступной поэзией откровения. В этом принципе — весь Белов. В этом — покоряющая сила его мужественного таланта.

Писатели не раз — не два упрекали в идеализации старины, даже обвиняли в патриархальности. Можно представить, как это горько отзывалось в его душе. Неспредвиденные слова тяжелее всего. Но вот на шестом съезде писателей СССР Федор Александрович Абрамов в своем страстном выступлении сказал: «Нет, не идеализация это патриархальность, не пресло-

вутая тоска по уходящей из-за такой бедумной логикой и даже высокомерием всплают некоторые критики и даже сныновия, хотя и запоздалая благодарность. Вместе с тем большой разговор в литературе о людях старого и старшего поколения — это стремление осмыслить и удержать их духовный опыт, тот нравственный потенциал и нравственные силы, которые по да ли пронасть России в годы самых тяжких испытаний... Помню, как испоконку зал в Большом Кремлевском дворце от этих простых, как сама правда, слов, как дружно и горячо аплодировал Федору Абрамову.

Да, надо удерживать в памяти многовековой духовный опыт русского народа, нрав-

журнала «Нам современник», в котором печатался «Лад», читались параксат. Значит, так велика теперь потребность в литературе философско-нравственной, исторической глубины!

Если коротко сказать, то все творчество Белова — это плодотворное исследование в лада лад нарушения лада человеческой жизни. Наумляюсь точно найденному им слову — лад! Лад, по народному опыту, это — золотая цепочка неразрывно следующих друг за другом таких высокоправдивых понятий: семья — труд — обычай — природа — мир. Вот гармония любви и жизни человека! Нарушь хоть одно звено в этой цепочке — и человек несчастлив.

Василий Белов с молоком матери впитал в себя все эти создающие душу и самого человека понятия. Анфиса Иванова, его мать (визитной карточкой — одаренная русская женщина, пройди, как и все наши матери, через мысленные и пемислимые тяготы, благоговела сына своей любовью на большую работу. Она помогла ему преодолеть все, понять народный порядок жизни. А если человеком с малых лет усваивается народная культура, он легко берет и к книжным богатствам. А когда впитана отечественная культура, то становится близкой тебе, как бы своей, и культура всемирная. Именно таким путем шел и идет писатель Василий Белов.

Еще более полутора тысяч лет назад римский поэт Вергилий в своем мудром стихотворении «О возрасте» давал совет, чего должно достигать человек в каждом десятилетии своей жизни. И там он сказал: «В пятидесяти лет научись писать искусство». Василий Белов пишет искусство. И давно. Мне иногда кажется, что у него и не было поры ученичества. Когда он написал свою первую повесть «Деревня Бердянка», даже строгий Александр Яшин отметил раннюю зрелость автора, тогда еще студента Литературного института.

Теперь, к своему пятидесятилетию, Василий Белов пришел со множеством книг, яданных в нашей стране огромными тиражами и переведенных на все европейские языки. Повести, исторические хроники, рассказы, драмы, очерки, публицистика — все под силу его правдивому перу. Он лауреат Государственной премии СССР, член Вологодского обкома партии, член Правления Союза писателей. Он в расцвете своих могучих сил.